

АНДРЕЙ УБОГИЙ

ПРИКОСНОВЕНИЕ К АЗИИ

I. АЗИАТСКИЙ СЮЖЕТ

*И за борт её бросает,
В набежавшую волну...*

Из песни

Самую ёмкую формулу отношений России и Азии выражает, пожалуй, та песня, строки которой вынесены в эпиграф. Живой интерес, доходящий до страстной любви, – и, в то же самое время, настороженность и недоверие, доходящие до откровенной вражды. Причём и любовь, и вражда выражаются с крайнею силой – эта стихийная сила и вышвырнула бедную персиянку за борт разинского челна.

В каком-то смысле вся русская история есть перепевание этой песенной темы на разные голоса и лады – есть воплощение странной, умом непостижимой любви-вражды между Россией и Азией.

Сначала нахлынула Азия: почти тысячу лет назад Русь захлестнуло монгольской волной. И вот, начиная с победы на Куликовом поле, Россия упорно отодвигала Азию вспять: и освоением Сибири, и покорением Средней Азии, и великими русскими путешествиями во внутреннюю Монголию, на Тянь-Шань и на Дальний Восток. Но окончательный реванш за нашествие Чингисхана для России наступил лишь в XX веке, когда барон Унгерн со своими головорезами взял Ургу, столицу Монголии.

Но нельзя же сказать, что Россия и Азия лишь враждовали? Тюркская кровь и язык сотни лет подпитывали Россию: без этого ни русские женщины не стали бы первейшими красавицами в мире, ни русский язык не стал бы настолько велик и могуч. Да что говорить – если даже сейчас именно Азия обустроивает и приводит в порядок Россию. Взгляните: кто работает на русских стройках и подметает русские улицы?

Конечно, отношения России и Азии – тема столь же необозримая, как и сама Великая Степь. И мы только коснёмся её – для начала, хотя бы с литературной её стороны.

Интересно, что почти у любого из больших русских писателей был свой азиатский сюжет. Ещё безымянный автор “Слова о полку Игореве” обозначил эту “восточную составляющую” русской литературы: князь Игорь с дружиной движется именно в сторону Азии, в “земли незнаемы”. Покорить-познать эти земли, оставив родину “за шеломянем”, становится важным – трагическим,

но неизбежным – этапом самоопределения России. Пусть до собственно Азии Игорь и не дошёл; но кочевники-половцы, против которых он выступил в свой обречённый на неудачу поход, – дети именно Дикого Поля, которое вскоре накроет Русь тремя сотнями лет азиатского ига.

Прекрасную книгу об Азии оставил купец Афанасий Никитин. “Хожение за три моря” до сих пор интересно читать: о том, например, как “вера с верою не исть, не пиять, не женится”, или о том, как нарядны и дешёвы женщины в Индии.

После купца Афанасия Никитина Азия лет на четыреста выпадает из поля зрения русской литературы – пока в азиатскую сторону не обращается пушкинский взгляд. “Подражания Корану” так выражают поэзию главной книги ислама, что поражаешься: как мог русский поэт столь проникнуться духом Востока? Но Пушкин на то он и Пушкин! У него и Магомет заговорил вдруг по-русски:

*Блаженны павшие в сраженье.
Теперь они вошли в Эдем,
И потонули в наслажденье,
Не омрачаемом ничем!*

А “Бахчисарайский фонтан”? Пожалуй, в реальном гареме хана Гирея было меньше пленительной неги, чем в этих пушкинских строках:

*Однообразен каждый день,
И медленно часов теченье.
В гареме жизнью правит лень,
Мелькает редко наслажденье.
Младые жены, как-нибудь
Желяя сердце обмануть,
Меняют пышные уборы,
Заводят игры, разговоры,
Или при шуме вод живых,
Над их прозрачными струями
В прохладе яворов густых
Гуляют легкими роями...*

Есть у Пушкина и “азиатская” проза. Причём “Путешествие в Арзрум” – не просто литературный шедевр. Пушкин, решительно двигаясь в Азию, к турецкому Арзруму, одним этим движением и его описанием как бы расширяет границы России и русского самосознания. Когда читаешь: “Я весело въехал в заветную реку, и добрый конь вынес меня на турецкий берег. Но этот берег был уже завоеван: я всё ещё находился в России”, – то вдруг понимаешь: расширение русских границ, в каком-то метафизическом смысле, происходило не столько от действия армии графа Паскевича, сколько от одного взгляда Пушкина, который даже и камни Туретчины мистически делал своими! Где был Пушкин – там была и Россия; всё, на что падал его ясный взгляд, уже становилось русским по духу.

И Лермонтов оставил нам азиатскую повесть. Печорин томится по настоящей любви, настоящей, не искажённой безверием, жизни – и думает, что в азиатской красавице Бэле и в своей страсти к ней он эту жизнь и любовь обретёт. Чем кончилась эта история, хорошо известно – примерно тем самым, чем и любовь Разина с персиянкой, – что позволяет считать повесть “Бэла” как бы ещё одним вариантом песни “Из-за острова на стрежень”.

Лев Толстой тоже нередко смотрел в азиатскую сторону. И “Казаки”, вещь сравнительно ранняя, и “Хаджи Мурат”, его поздний шедевр, рисуют нам непростые отношения Азии и России, взаимную их любовь-ненависть, которая разгорается тем сильнее и ярче, чем ближе подходят друг к другу два этих мира. И дело не сводится только к литературе: известно, что свой последний исход Толстой направлял на Кавказ, в гребенские станицы – туда, где он ещё в юности впервые взглянул в лицо Азии.

И XX век не забывал об азиатском сюжете. Вот повесть Андрея Платонова “Джан”: могучее изображение одиночества и нищеты человека в пустыне –

и призыв одиночество это преодолеть. Назар Чагатаев, герой этой повести – одновременно и Моисей, ведущий свой народ джан через пустыню, и Прометей, чью плоть рвут орлы, возмущённые дерзостью человека.

Вообще, эта тема – Азия в русской литературе – очень обширна. Тут и еврипаидея Леонтьев, влюблённый в Константинополь-Стамбул, и Есенин с его “Персидскими мотивами”, и даже Набоков, который смолоду планировал экспедицию в Центральную Азию, но смог совершить её лишь на страницах романа: едва ли не лучшее в “Даре” – воображаемое путешествие Годунова-Чердынцева по отрогам и перевалам Тянь-Шаня.

А “азиатский рейд” Чехова, его “Остров Сахалин” – и гордость писателя тем, что в его “беллетристическом гардеробе будет отныне висеть и сей грубый арестантский халат”?

А Бунин, чья тяга к руинам Востока заставляла его вновь и вновь подниматься на корабельную палубу и затем жадно, с какой-то надрывною скорбью, оглядывать те азиатские камни, по которым скользила тень птицы Хумай?

Не претендуя на сколько-нибудь обстоятельный, полный разбор азиатских сюжетов российской словесности, не могу не вспомнить о той замечательной прозе, какую оставили нам русские путешественники. Мы так избалованы богатством и разнообразием русской литературы, что почти позабыли о сочинениях наших “землепроходцев”: Пржевальского, Арсеньева, Грума-Гржимайло. А ведь их книги воистину удивительны именно как литературные произведения! И если Владимир Арсеньев и его друг Дерсу Узала ещё более или менее знакомы читающей публике, то другим писателям-путешественникам литературной известности почти не досталось.

Как жаль! Как жаль, что прямая и точная проза русских географов современной России почти неизвестна! Печально, что мы утратили ту отважную радость существования, то доверие к миру и счастье его познавать, которые уводили Пржевальского и Арсеньева, Грума-Гржимайло и Семёнова-Тянь-Шанского из уюта российских усадеб в пустыни, теснины и пропасти Азии. . .

II. ВРЕМЯ, НАЗАД!

Однажды — значит, навсегда.

Андреас Вариллопулос

Самое первое, сильное впечатление от Средней Азии – то, что время там словно бы двинулось вспять, отнесло меня лет на тридцать в прошлое, и я вновь оказался в Советском Союзе 80-х годов. И общий дух жизни, как бы задержавшейся в сонной эпохе застоя, и её, жизни, частности – всё укрепляло меня в этом странном, похожем на сновидение, чувстве.

Вот бреду я, к примеру, по улице Шахрисабза, небольшого узбекского городка, и вижу торговку, а перед нею – те самые разноцветные конусы сока, из которых я утолял свою юную жажду лет тридцать назад. Здесь всё, до последней детали, то самое, что осталось в далёком прошлом: и сами стеклянные конусы с жестяной окантовкой поверху, и трехлитровые банки, из которых толстенная тётка подливает в них сливовый и яблочный сок, и краники, из которых сочатся разноцветные капли, и поднос с гранёными, плохо вымытыми стаканами, и даже, как вдруг показалось, выражение лица продавщицы. Оно было скучающим и недовольным; и я вдруг умилился именно важным её недовольством, которое сразу перенесло меня в прошлое, в недра застойной эпохи, когда почти все продавщицы страны были важно-надменны и всем недовольны.

А цветные клеёнки в любой чайхане-ошхане: разве это не те же клеёнки родного советского общепита, с которых нас некогда просто, но щедро кормила страна? Ведь мы кормились в те годы, по сути, бесплатно, и встретить тогда голодающего человека было сложнее, чем повстречать какого-нибудь саблезубого тигра.

Кстати сказать, и сейчас в Средней Азии – по крайней мере, нас, россиян – дешёвизна еды удивляет и тоже способствует тому ощущению “время, назад!”, о котором идёт речь. Закажешь хороший обед – лагман или плов, тарелку салата, лепёшку тандырного хлеба и неизменный кок-чай в синем

чайнике, крышка которого привязана мокрой веревочкой (видя которую, я всегда вспоминал бунинскую “Жизнь Арсеньева”: “... ржавый шелушащийся поднос, на котором стояли передо мной два белых чайника с мокрыми верёвочками, привязанными к их крышечкам и ручкам... Наблюдение народного быта? Ошибаетесь, – только вот этого подноса, этой мокрой верёвочки!”), неспешно наешься-напёшься почти до обморока (потому что порции здесь раза в два больше наших) – и заплатишь за всё рублей сорок. Чем не сказка?

Острее всего эффект “время, назад!” ощущался в Хиве. Но не в той музейно-декоративной Хиве, где между стен, минаретов и башен Ичан-Калы толпятся французы и немцы, где они фотографируют схему Великого шёлкового пути и примеряют лохматые каракалпакские шапки; а в той, настоящей Хиве, где живут ремесленники и мясники, торговцы и милиционеры.

Впервые я вышел побродить по Хиве ближе к вечеру, после дождя, и поразился: да это же Тим или, скажем, Мосальск! Причём Мосальск или Тим именно давней, застойной эпохи, когда людей на улицах было немного, машин – ещё меньше, и когда ощущение неизменности жизни пробуждало в душе волну острой нежности ко всему, что ты видишь вокруг. И к этим вот лужам на грязной, разбитой дороге, и к лошадёнке, которая тащит телегу с пустыми молочными флягами, а эта телега скрипит и вихляется так, словно ей неохота тащиться за лошадью, и к опустевшим рядам колхозного рынка, который доселе так и называется “декхан-базар”, и к покосившимся ржавым воротам какого-то гаража, за которыми видишь разбитый “зилор”-самосвал, и даже к портрету вождя на стене. Всё выглядит столь потрёпанно-древним, что кажется: время забыло об этом затерянном мире, и он коротает свою затрапезную вечность, живёт совершенно особой, герметически-сонную, жизнь...

Да, это Азия – мир, отвергающий новости и перемены, впавший в дрему покоя и погружающий в эту дрему тебя, отрешённо-бесцельно бродящего по кривым переулкам Востока... Вдруг понимаешь, что тридцать лет – это сущий пустяк, что машина времени продолжает нести тебя дальше и дальше, в совсем уже древнее прошлое. Разве, к примеру, вот эта бухарская пыльная улица в чём-то существенном переменялась за пятьсот зим и лет? Убрать только столбы с проводами – и ты будешь видеть всё то же самое, что видел какой-нибудь старый бухарский еврей в жарком ватном халате, бредущий в торговый купол менял, или утомлённый погонщик верблюдов, шагающий в баню-хамам. Старый город за пять веков почти не переменялся: такие же бледно-песочные стены домов расходятся от Ляби-Хауза, главного водопоя верблюдов, такие же горлинки нежно гуляют под застрехами старых бухарских домов, и такая же пыль покрывает здесь всё: кувшины и чайники, выставленные на продажу, ковры, расстеленные прямо под ногами прохожих, и россыпи самоцветных камней на лотках ювелиров.

А звуки? Разве не эти же самые звуки раздавались здесь прежде? Часов в пять утра – ещё только светает – я слышу восторженно-плачущий крик муэдзина, потом слышу, как шаркают, что-то бормочут бредущие на намаз аскалы; потом женщины звякают ведрами, поливая водой глину улиц перед домами; потом трещит хворост в тандырах и сладковато-горчащий дымок расстилается по переулкам; а потом всё слышнее и громче начинает звучать и ремесленная Бухара. Звенят молоточки чеканщиков, завывают кузнечные горны, и удары кувалд начинают отсчитывать собственный ритм – ритм тяжёлой и древней работы...

Два дня мне довелось потрудиться в кузне Закира, известного мастера, одного из немногих, кто доселе куёт дамасскую сталь по тысячелетним рецептам, вручную, не поддаваясь соблазну облегчить тяжёлую и кропотливую эту работу. И вот здесь, в старой кузне Закира, обратный счёт времени шёл уже и не на века: целые тысячелетия мало что переменяли и в самой этой кузне, и в звоне ритмичного молотка кузнеца, направляющего кувалду молотобойца. Двойной наш удар: отчётливо-звонкий Закира и следом – тяжёлая поступь кувалды – напоминал двойной стук неутомимого древнего сердца, которое билось здесь ещё при Авиценне и Аль-Хорезми, при великих эмирах и шахах, в то незапамятно-давнее время, когда Бухара представляла собой главный пункт перевала с Востока на Запад, великий привал на великом пути, место встречи религий, культур и едва ли не главный в то время перекрёсток цивилизаций.

А потом, отдыхая и глядя в кузнечный мерцающий горн, где на розовых углях лежит, раскаляясь, малиновый брус заготовки, ты чувствовал, как погружа-

ешься в древность совсем уж седую, в то время, когда здесь трудились и жили огнепоклонники-зороастрийцы. Недаром их главный храм – храм Луны – был в какой-нибудь сотне шагов от теперешней кузни Закира. Сейчас там одна из древнейших бухарских мечетей, Магоки-Атари; но огненный дух изначальной религии персов там, несомненно, живёт: если и не в камнях, что остались от храма Луны, то вот в этом кузнечном мерцающем горне, в том чувстве восторга и смутного ужаса, что возникает при виде живого огня. Кузнечное дело несло черты культа, и труд кузнеца был, по сути, священным обрядом.

И как было здесь, в этой кузне, среди брызг и отблесков пламени, не вспомнить о Гераклите, том нелюдимом и мрачном философе, жившем в горах Малой Азии, который стихию огня полагал основной причиной, источником, сутью всего мироздания? “Всё есть огонь, – говорил Гераклит, – мерами возгорающийся и мерами угасающий”. Поэтому даже и нашу людскую короткую жизнь мы можем сравнить с теми искрами, что отлетают, дымься, от раскалённо-тугой заготовки Вселенной под ударами неутомимой кувалды Творца...

Порой представляется: в Азии времени как такового нет вовсе. Есть только циклы природной и человеческой жизни, есть смены империй, то возникающих, то приходящих в упадок, и есть миражи расцветающих, а потом засыпаемых жадным песком городов. Нам-то, детям Европы, всё кажется: время есть некая улица с односторонним движением или, точнее, река, что несёт нас в одном направлении, из былого в грядущее; и само собой разумеется, что наше “сегодня” непохоже на наше “вчера”, а “завтра”, конечно же, будет иным, чем “сегодня”.

Но в Азии время циклично: оно повторяется, словно узор на ковре или орнамент на пёстром фасаде мечети, или вязь арабесок на полях древнего манускрипта. Новость – это изобретение (или иллюзия?) именно Запада; этим, я думаю, и объясняется тот удивительный факт, что азиатский Восток, изобильный поэзией и философией, почти не оставил нам прозы. Сборник “1001 ночь” считать прозой трудно: это всё-таки свод поэм с фантастическим содержанием, изложенных пышным, но нерифмованным слогом. Ядро прозы – новелла (что и переводится, кстати, как “новость”); но в азиатской циклической жизни новости – стало быть, и новелле – как бы нет места. Там, где нет ощущения времени, и рассказывать не о чем; можно лишь воспевать кого-либо в пышных стихах – ну, скажем, красавицу, избрав для этого форму газели, или властителя, избрав форму оды-касыда, – и вполне можно пересылать эти поэмы от одного адресата к другому, лишь изменяя в них имена, что, кстати, и делали многие из знаменитых поэтов Востока.

Не потому ли – то есть именно из-за отсутствия ощущения времени, приносящего новости и перемены, – мне так трудно рассказывать о своём путешествии в Азию? Связного, выстроенного в сюжет повествования не получается, а выходит лишь некая вязь впечатлений и мыслей, не столько повествующая о чём-то, сколько отражающая тот прихотливо-однообразный узор, на который, в моём восприятии, и похожа цикличная, пёстрая и неизменная азиатская жизнь?

В этот сложный узор, после воспоминаний о кузне Закира, вплетаются и воспоминания о моём, самом первом, прикосновении к Азии.

Это было в Крыму (согласитесь, что Крым для нас – уже Азия; хотя он и относится, говоря строго, к Европе), ранним утром 25 мая 1979 года. Наш “9-Б” тогда ехал на поезде в Севастополь; и я пробудился от крепкого юного сна на верхней полке вагона как раз в тот момент, когда за окном медленно проплывали белые буквы: “Бахчисарай”. Следом за буквами я увидел зелёные ромбы из реек на ослепительно-белой стене, виноградные плети и тени от листьев, которые, выделяясь на свежей побелке стены, казались отчётливей, чем сами листья. И спросонья в моей голове возник ряд волнующих образов. Бахчисарай – фонтан слёз – ханский дворец и гарем – Пушкин, юг, Крым – и всё это прочно связалось в моей восприимчивой юной душе с косыми тенями и рейками виноградных шпалер и с резной зеленью листьев на фоне белой стены...

Поезд уж тронулся, эти зелёные ромбы и виноградные плети уплыли в пространство и времени, сделались прошлым, но для меня их волнующий образ отныне навеки был связан с Бахчисарайским дворцом и с фонтаном, воспетым Пушкиным, с гаремом хана Гирея, с томлением юности и с блаженною негой азиатского юга. И долгие годы я жил, убеждённый, что Бахчисарайский дво-

рец — это и есть тени листьев на белой стене, зелёные ромбы шпалер и тот ослепительный, радостный блеск, что бывает в Крыму майским солнечным утром.

С той поры прошло двадцать лет, и ещё один год и три месяца — то есть, целая жизнь. И вот я снова в Крыму, снова в Бахчисарае, но уже не с одноклассниками, как когда-то, а со своим двенадцатилетним сыном Дмитрием. Мы неспешно бредём по пустому перрону, и я вдруг замираю, поражённый внезапным воспоминанием. Точнее, это не воспоминание, а “дежа вю”, то есть чувство, что я уже это видел. Да, вот эти самые ромбы из реек-шпалер, эти листья и тени от листьев на белой стене мне встречались когда-то... Только теперь-то я вижу, что это стена не дворца, как я думал всю жизнь, а всего лишь сортира на вокзальном перроне! Впору было расхохотаться: никогда ещё я не испытывал столь же резкого противоречия между реальностью жизни и моим представлением о ней. Это надо же было: нести в душе такой запас юных лирических грёз, что в их свете даже вокзальный сортир становился дворцом!

III. БРАТЯ И СЁСТРЫ

— *Откуда, брат?*

— *Из Москвы.*

— *А в Москве из какого города?*

Обычный разговор в Узбекистане

Не знаю, осталось ли где-нибудь в мире такое душевное, тёплое обращение друг к другу, какое бытует в Узбекистане? Там обращаются к незнакомому “брат”, к незнакомке — “сестра”, и уже за одно это можно полюбить народ, напоминающий нам, кто мы, люди, есть, несмотря на различия рас и религий. Да, мы братья и сёстры, мы дети Отца, и мы все образуем единую, хоть и живущую в нескончаемых спорах и ссорах, семью.

Правда, первым приветствием и обращением, что услышал я в Азии, было: “Товарищи!” Только-только светало, за вагонным окном бесконечно тянулись печальные степи казахов, из тамбура веяло стужей, в вагоне все ещё спали, но бодрый толстяк в тубетейке уже катил по проходу тележку и голосил: “Товарищи! Кому — беляши, пиво, водка?!” Спросонья всем, видно, казалось, что это мираж: кто в здравом уме будет в половине седьмого утра торговать беляшами и водкой? Но настроение утренний этот разносчик оставил хорошее, бодрое; тем более что обращенья “товарищи” я не слышал уже лет двадцать пять — и словно сразу на этот же срок помолодел.

В Узбекистане никак не привыкну, что мне все здесь рады: не только таксисты или повара в чайханах, для которых я — вероятный источник дохода, но и просто прохожие люди. Обратишься к любому, о чём-нибудь спросишь, и тебе не просто ответят, но и отведут, куда тебе нужно, и пригласят в дом на чай, и вообще постараются, чтобы тебе стало лучше, чем было доселе. Вот этот живой, непосредственный импульс помочь настолько для нас непривычен, что я как-то раз оплошал. Я предложил деньги Равилю — тому, кто, закрыв свою чайхану и переодевшись, повёл меня на местный базар, чтобы лично передать в руки самых честных менял, сам убедился, что доллары мне поменяли по верному курсу, и потратил на все эти хлопоты около часа. Но когда я спросил, не должен ли я что-нибудь за его услуги, Равиль возмутился:

— Да ты что, брат? У нас помощь не продают...

Если бы не всеобщее это радушие и гостеприимство, разве б я оказался на узбекской свадьбе? Пригласили меня неожиданно. Ехали по серпантину горного перевала, таксист гнал, как бешеный, и я не выдержал:

— Брат, куда гонишь? К Аллаху торопишься?

— Зачем к Аллаху? — удивился водитель. — Я на свадьбу спешу!

— А-а... — понимающе кивнул я. — И много гостей бывает на ваших свадьбах?

— Поедем — посмотришь! — захохотал Кахор (так звали таксиста), обгоняя на повороте тележку с невозмутимо шагающим осликом так, что зеркалом чуть не оторвал тому ухо. Я, признаться, не принял всерьёз этого приглашения, но когда, расплатившись, уже в Самарканде вышел из машины, Кахор придержал меня:

— Ты куда, брат? Мы же едем на свадьбу!

Оказалось, его самого пригласил одноклассник Шариф, а того – одноклассник по ташкентскому институту, который в тот день как раз женил сына. При такой широте приглашающих жестов неудивительно, что на узбекскую свадьбу собирается, в среднем, до тысячи гостей, а на хорошую свадьбу – и до двух тысяч.

Само торжество проходило в какой-то промзоне, в огромном ангаре. Действительно, какой ресторан вместит разом тысячу посетителей? Этот ангар весь гудел, шевелился, кричал, танцевал. Интересно, что женщин почти не было, если не считать танцовщиц в серебрищихся платьях, извивавшихся между столами, да невесты, сидевшей рядом с женихом на возвышении, напоминающем сцену. Было шумно и душно, оркестр жарил узбекскую затейливо-однообразную музыку, гости то выскакивали на середину зала и пускались в пляс, то возвращались к столам, чтоб подкрепиться себя пловом, шурпой, колбасой и лепёшками. Еды было много, выпивки – тоже: водка “Русский лес” лилась рекой.

Ощущение всенародного праздника было всеобщим и неподдельным. Народ ликовал оттого, что, коль скоро играется свадьба, он, народ, продолжается! Живым и естественным здесь было чувство, что свадьба – это не столько праздник двоих, сколько именно торжество всего рода и даже народа. И недаром, когда молодая родит мужу сына, будет сыграна ещё одна свадьба, и продолжится общее ликование по поводу неиссякающей жизненной силы узбеков.

Вообще, культ семьи – едва ли не главное в Азии. Легко можно представить себе азиата, более чем прохладно относящегося к своему президенту и даже к Аллаху, но человека, не ставящего интересов семьи выше всех прочих ценностей в мире, в Азии, кажется, не существует. Поэтому там почти нет разводов, нет брошенных детей и забытых стариков – потому что нельзя в жертву личности, эгоистическому интересу приносить жизнь близких людей. И вообще личность, по азиатским понятиям, не может быть важнее семьи и, тем более, рода. Это существенное различие между Востоком и Западом – миром, где главным является род и семья, и миром, где главной является всё-таки личность. Но чтоб не впадать в однобокое умиление нравами и традициями Узбекистана, вспомню один эпизод той самой свадьбы, на которой я так неожиданно оказался.

Свадьба гудела, плясала и пела, но “Русский лес” своё дело делал, и пьяных становилось всё больше. Многих из тех, кто уже не стоял на ногах, заботливо уводили под руки сыновья и племянники; но один ослабевший от выпитого мужичок лет сорока, шатаясь и улыбаясь бессмысленной добродушной улыбкой, неприкаянно слонялся между гостями. Он никому ничего плохого не делал, ни малейшей агрессии не проявлял – было видно, что человек он добрый, но просто не знающий меры в питье. Вдруг к нему подошёл осанистый, важный узбек: и живот, и двойной подбородок выдавали в нём начальника средней руки. Он что-то резко сказал захмелевшему, еле стоящему на ногах мужичонке и вдруг, ни с того ни с сего, стал жестоко его избивать! Он бил резко, с хваткой боксера или бывшего уголовника, – а возможно, и того, и другого, – и когда мужичонка, как куль, рухнул на пол, мордастый, налившийся кровью его истязатель ещё несколько раз пнул его ногой в пах. Я не верил глазам: как такое возможно, да ещё на виду сотен людей?! Но моего изумления, похоже, никто здесь не разделял. Все как-то вскользь пробежали глазами мерзкую эту картину – пьяный, скуля, копошился в пыли, а мордастый мужик вытирал платком руки и жирный, вспотевший затылок – и продолжали галдеть о своём, пить “Русский лес” и зачёрпывать ложками плов. Лишь Кахор, заметив моё изумление, пояснил:

– Не обращай внимания, брат. Это дядя учит племянника: нехорошо напиваться на людях...

О том, хорошо ли избивать человека ни за что, ни про что, да ещё у всех на виду, я, понятно, не спрашивал: Восток – дело тонкое...

Но всего поразительней было то, что избитый племянник сам был, похоже, не против того, чтоб его так жестоко учили: по окровавленному лицу блуждала хмельная улыбка. Ну, как же: ведь род не бросил его, не забыл, не оставил слоняться хмельным, неприкаянным и одиноким; нет, жестоким дядиным кулаком род как бы вернул загулявшего пьяницу в строй, вбил его в свои ряды и приказал: “Будешь с нами! Ты нужен нам, мы тебе; а пока мы друг другу нужны – у нас есть право тебя и учить, и наказывать...”

Культ семьи в Азии расширяется до почитания и уважения не только родных, но соседей, друзей, даже просто знакомых. Человек, которого знаешь, сразу решительно выделяется из числа всех прочих людей, становится как бы

частью твоей собственной жизни. Так, махалля – квартал азиатского города – становится как бы большой семьёй, все члены которой не только знают друг друга, но принимают участие в жизни соседей, помогают, чем могут, и никогда не оставляют без внимания и без заботы того, кто нуждается в помощи. Кто сомневается в доброте и радушии городской азиатской общины, пусть вспомнит то, как Ташкент в годы последней великой войны приютил миллионы беженцев из России, как он выкормил их, обогрел, вспомнит то, как узбекский народ поддержал русских братьев и русских сестёр в самое страшное время.

Вообще, люди Азии кажутся много добрее, отзывчивей, чем люди Центральной России: сравнивать нас с азиатами больно и грустно. Утешает лишь то, что узбеки по-прежнему любят нас и уважают, чтят русских как старших и умных, как образованных, щедрых и справедливых, то есть видят в нас то, что мы сами, похоже, уже неспособны увидеть в себе.

Конечно, всему есть причины и объяснения. Несомненно, одной из причин, по которой простые люди в Азии так радушны и гостеприимны, так открыты к общению и готовы помочь, является пресс диктатур и традиций, гнёт жёстких норм шариата, привычка склоняться пред сильным и чтить представителей власти, уверенность в том, что человек – не хозяин, а только игрушка судьбы, и что всё давно предрешено, в том числе и тот тяжкий груз подавляющих личность условий, которые как бы отсекают от человека его социальную “вертикаль”, но зато “расширяют” его по “горизонтали”. Там, где человек ощущает собственную никчёмность, где он обречён прожить жизнь в тех же самых условиях, в которых родился, и где он заранее с этим согласен, там силы души и энергия жизни обращаются на то, что тебя окружает: на семью и соседей, на дом, на твою махаллю, где жили твои дед и отец и будут жить твои дети и внуки.

Мой знакомый Закир, известный бухарский кузнец-оружейник, больше года прожил в Америке: он продавал там – и, кстати, довольно успешно – свои клинки. Так вот, он говорил: “Нет, брат Андрей, я б в Америке никогда не остался. Там же никакой личной жизни: только работа, карьера и деньги. В воскресенье выспался, и опять: работа – карьера – деньги. А жить-то когда?”

В Узбекистане всё наоборот: нет ни работы, ни денег, ни возможности делать карьеру, и остаётся одна только частная жизнь. Можно сказать так: если классическая американская модель жизни оставляет человеку одну социальную “вертикаль”, то есть предлагает ему, забывая себя самого, бесконечно карабкаться по социально-финансовой лестнице, то на Востоке такая “вертикаль” почти уничтожена, и человеку остается лишь расширяться “по горизонтали” – вести скромную частную жизнь, существовать “здесь и теперь”, сознавая, что жизни иной у него уж не будет...

... Вот так ездись-ездись по белому свету, наблюдаешь жизнь разных людей и народов, и всё прочнее убеждение в том, что плохих народов не существует. Народы суть Божьи мысли – и как же они могут быть плохи? Другое дело, что в каждом народе есть нехорошие люди, но они неизбежны, как и сам человеческий грех.

Эту мысль можно развить. Как не существует плохих народов, так же точно нет и плохих людей. Как может быть плох человек, Божий сын, созданный по Его образу и подобию? Есть лишь отдельные плохие поступки (то есть грехи) хорошего, по изначальному замыслу, человека. Согласитесь: если бы мы уяснили себе эту мысль не одним лишь умом, но всем сердцем, насколько бы стала теплее, душевнее наша холодная жизнь...

IV. ВНАЧАЛЕ БЫЛ КАЛАМ*

Достоинство письма возводит человека... до степени Ангела, а дьявола — до степени человека.

О. Хайам. “Наврузнаме”

В Самарканде, в одной из ниш медресе Улугбека что-то усердно писал каллиграф – сухощавый таджик в тюбетейке, очках, с аккуратной бородкой и с пальцами, перепачканными тушью. Он, казалось, всецело был погружён

*Калам – тростниковое или бамбуковое писчее перо.

в своё кропотливое дело – плетение вязи словесных узоров большим тростниковым каламом, с которого на бумагу стекала волна синей туши, то широкая, то исчезающе-тонкая, – но когда моя тень упала на стол каллиграфа, он поднял голову, посмотрел на меня и спросил:

– Хотите знать истину?

– Хорошо бы... – пробормотал я, немного опешив.

– Вначале Аллах создал калам, – твёрдо сказал каллиграф. – И только потом сотворил остальной мир.

И, склонившись, мастер пера продолжил плести изоощрённую вязь арабских, красиво синеющих, букв.

Слова каллиграфа открыли мне глаза на многое из того, что увидел я в Азии. Я осознал и почувствовал: всё, над чем трудятся руки ткачей, ювелиров, строителей и кузнецов, художников и каллиграфов, даже пекарей, на каждой тандырной лепёшке выбивающих особый рисунок печатей, даже дехкан, что ткут на полях и в садах разноцветные ковры из посадов, – что всё это, взятое вместе, есть писание книги Творца, которую Он нам диктует и переписывать строки которой есть высшая радость из тех, что дарованы людям.

Мне посчастливилось видеть и самый древний Коран: рукописную книгу громадных размеров, на оленью кожу которой, по приказанию шаха Османа, в седьмом веке были впервые записаны проповеди Пророка. Эту книгу спустил семь веков добыл Тамерлан, и теперь она – едва ли не главное достояние Узбекистана.

Лежит этот Коран под стеклом в центре гулкого зала, на пьедестале из чёрного мрамора, и такого же чёрного цвета те крупные буквы, из которых составлены главные для мусульман всего мира слова. Но поражают не столько размеры и древность Корана Османа, сколько сам дух поклонения слову, царящий в музее: посетители ходят, разувшись, говорят шёпотом, а попытка сфотографировать древний Коран кажется столь же кощунственной, как попытка сфотографировать самого Аллаха. Здесь, в музее Корана сохраняется то ощущение книги и слова как высшей святости, которое Запад стремительно и безвозвратно теряет. Запад, увы, деградирует к примитивно-наглядным картинкам и клипам, значкам, пиктограммам, то есть, по сути, к наскальным рисункам – стремительно возвращается в мир дописьменный, варварский и первобытный.

Тут очень кстати пришлось одно воспоминание, которым я не могу не поделиться. Как-то в ожидании поезда я коротал ночь на тульском вокзале. Моим соседом и собеседником по привокзальной скамье оказался недавно “откинувшийся”, то есть вышедший из заключения мужичок лет пятидесяти: он получил четырнадцать лет за то, что зарезал любовника своей жены. Тщедушно-невзрачный с виду, он оказался прекрасным рассказчиком: почти всё, что я знаю о нравах тюрьмы, я узнал из ночной беседы с ним. И вот, помню, уже на исходе той ночи – небо над крышами товарняков розовело, флюгарки стрелок выступили из темноты, а рельсы покрылись испариной крупной росы – я спросил собеседника:

– Слушай, а что в зоне самое главное для того, чтобы выжить?

Мужик задумался. Я решил подсказать:

– Может – сила, умение драться?

– Не-ет... – засмеялся мой собеседник. – Всё равно же, каким ты ни будь бугаём, спать когда-нибудь ляжешь...

Он снова задумался: видно, ему хотелось дать мне правдивый и точный ответ. Наконец, он твёрдо сказал:

– Главное – правильно говорить.

Бездна смыслов стояла за этой краткой формулой тюремного выживания. Говорить правильно – значит, говорить правдиво и точно, по делу, без пустой болтовни, говорить, отвечая за то, что сказал, выражая словами ещё и то многое, что не может быть сказано прямо. И тогда правильно произнесённое слово становится тем, что спасает в условиях самых критических, страшных – там, где ни сила, ни деньги, ни власть не защитят человека.

Похоже, что и моего собеседника все четырнадцать лет хранил “ангел слова”, то есть способность к живой, увлекательной, точной и образной речи. Но ведь этот же ангел оберегал ещё и легендарную Шехерезаду: тысячу и одну ночь он вёл её по лезвию ножа, в одном шаге от смерти, храня жизнь

наложнице царя Шахрияра. Вот уж воистину: для Шехерезады речь стала синонимом жизни, а слово – вратами спасения. Как поразительно это сплетение жизни и вымысла, тульского зека – и героини восточных легенд, современной России – и древней Азии...

Но заметна и разница между отношением к слову на Западе и на Востоке. Если упростить эту мысль, то можно сказать: для современного Запада слово есть, главным образом, средство для достижения неких – обычно весьма прагматических – целей. И сильнейший аргумент в пользу этого – обилие глагольных форм в главном языке западной цивилизации, английском: вряд ли какой ещё язык мира включает в себя двенадцать временных форм глаголов. То есть английский – это язык действия, язык достижения цели. В нём слово является средством, которое, чем энергичней, короче и проще, тем лучше.

На Востоке отношение к слову иное. Для араба или перса слово никак не слуга и не средство, но само по себе есть конечная цель. Где западный взгляд увидит многословную витиеватость, избыточно-сложный орнамент ветвящихся фраз и нагромождения лишних эпитетов, человек восточной культуры воспримет всё естественно, как дыхание, ибо словесный узор есть не средство, а цель речи, он существует сам для себя и сам по себе; и читатель, и слушатель ждут от него одного – красоты. Поэтому, кстати, касыды Востока так напоминают газели, и наоборот, ибо главное в них – не предмет восхваления, то есть не очи возлюбленной или мудрость властителя, а восхваление само по себе – тот узор, что сплетён из затейливых слов, та изошрённая пестрота арабесок, что делает рукопись книги похожей на яркий, клубящийся вязью орнаментов восточный ковёр.

Порой кажется: все на Востоке только и заняты тем, что без устали вышивают ковры. И каллиграф, что древним почерком куфи выводит строку за строкой, тянет фразы Корана, как нити на прялке, – разве это не ткач, под диктовку Пророка плетущий узор бытия? Или, скажем, чеканщик, чей молоток мелодично звенит на закате бухарского знойного дня – той порою, как пыль оседает на стены, айваны и улицы старого города, – разве он не вышивальщик по меди, под руками которого кувшин покрывается вязью узоров, превращаясь из простой ёмкости для воды или масла в нечто прекрасное, в то, чему место в музее?

А зодчий, что возводил, например, мавзолеем Самани – как он мог, имея в руках только грубый сырцовый кирпич, сплести из него столь затейливо-разнообразный узор, что стена мавзолея кажется именно вытканной?

Я уж не буду подробно расписывать то, что само просится на бумагу: сравнение с работой ткача работы тех зодчих, которые на воротах и стенах медресе, мавзолеев, мечетей Востока соткали ковры неземной красоты. Фасады, к примеру, Шахи-Зинды, мавзолеев на древнем кладбище Самарканда, вызывают не просто восторг, но состояние оглушённости тем, что ты видишь. Этой вот бирюзы, изумрудов и ультрамарина, сплетённых в сложнейший, клубящийся, сам себя заколдовавший узор, словно вот-вот не выдержат взгляд и рассудок. Того, на что ты сейчас с таким ошеломлением смотришь, кажется, просто-напросто не может существовать; но оно существует, поражая тебя очевидностью невероятного. По замыслу тех, кто выкладывал эти узоры из глазурованной плитки, сама смерть должна была отступить перед натиском красоты. И действительно, здесь о смерти думаешь меньше всего: она представляется не таким уж и важным событием в свете того, что открылось твоим глазам...

Даже простые дехкане, которые трудятся на полях и в садах, и те порой кажутся каллиграфами или ткачами, которые то ли усердно сплетают узоры ковров из зелёных посадок и всходов, то ли выводят на разлинованных грядками полях слова древней рукописи – те слова, что нам, людям, порою невнятны, но зато хорошо различимы Аллаху, во славу которого и совершается всё, что происходит под солнцем и под луной.

И если весь мир представлять как бы некою книгой, чьи страницы начертаны были предвечным каламом Творца, то каким же осмысленным, радостным станет любое из дел человека, когда он стремится или прочитать эту книгу, или украсить её, или хотя бы переписать её строки – на бумаге, ковре или камне...

V. ПРОЗРАЧНЫЕ ГОРОДА

Ad clares Asiae volumes urbes...

Katull*

Слова эпитафия всегда мне казались загадочны: почему Катулл, житель Вечного города, назвал азиатские города “прозрачными”? Наоборот, они подавляют теснотой пыльных улиц и переулков, чадом мангалов или тандыров, истошными воплями смуглых детей, которые целыми гроздьями чёрных голов выглядывают из дверей глинобитных жилищ. На первый взгляд, город Азии кажется плотен и тесен, запутан и бестолков, мучительно-однообразен по цвету – саманные стены ничем не хотят отличаться от окружающих город песков – и, если бродить по нему час, другой, третий, то мерещится: ты попал в западню, из которой один выход – в небо. Не с этим ли связано то, что все главные мировые религии – родом из этих пустынь, из тесных, криковых лабиринтов дувалов? Иудаизм, христианство, ислам – не забудем и зороастризм! – все родом из Азии, родом из пыли и зноя, и из той тесноты азиатского города, в которой, как кажется, вовсе нет места душе человека. Необходимость преодолеть этот морок и бред обступившего со всех сторон плотно-материального мира, подняться над ним, превозмочь тесноту бытия – вот, возможно, одна из причин, порождающих тягу людей к трансцендентному, к миру, который невидим.

Так где же “прозрачность”, о которой пишет Катулл? Разгадка, как это часто бывает, лежит на ладони: стоит лишь поменять угол зрения, чтобы всё, чем томит и теснит азиатский запутанный город, обрело бы иное значение. На второй день блуждания по пыльным улицам Бухары я вдруг догадался: да это же просто огромный бивак на большом караванном пути! И он здесь поставлен на время, пока отдохнут ишаки и напьются верблюды, пока караванчики разных стран обменяются новостями, а торговцы – товарами, пока отошавшие на переходе погонщики наедятся досыта плова, а цирюльники выбреют наголо обросшие на пути из Китая и Индии головы правоверных.

Увиденный именно так, город сразу становится и прозрачным, и призрачным. Всё в нем обретает первоначальный смысл. Что первым делом требуется каравану, прошедшему пекло пустыни? Понятное дело, вода. Поэтому в центре любого из городов, нанизанных, словно бусины, на ветви Великого шёлкового пути, был водоём или “хауз”, но до сегодняшних дней такой пруд сохранился лишь в Бухаре. А поскольку верблюд пьёт очень много – до пятнадцати вёдер за один водопой, – и в большом караване верблюдов могло быть до нескольких сотен, то ясно, насколько вместителен должен быть “хауз”. Правда, сейчас вода Ляби-Хауза, центра сегодняшней Бухары, используется лишь для того, чтобы поливать плиты меж столиками кафе, облепивших пруд с двух сторон, да для фонтанов с цветной подсветкой, которые так украшают и так освещают вечерние трапезы в этих кафе. Пока пьют верблюды, – а они это делают основательно, долго, “в запас”, – что делать купцам и погонщикам, которые привели караван в Бухару? Конечно, идти в баню – смыть пыль и пот путешествия. Там же, при бане, их ждут цирюльники и массажисты, чай и сладости – ждёт долгожданный, заслуженный отдых.

Сходим-ка в баню и мы. Здесь всё то же самое, что было и в XV веке, кроме электрического освещения. Даже печь, от которой нагретый воздух по трубам расходится в помещения бани, – натуральная печка, которую топят дровами.

Горячими лавками после раскаленных песков пустыни здесь никого особенно не удивишь, а вот изобилие горячей воды, действительно, кажется чудом. А уж если вода подаётся не в чайках, как в классической бане Востока, а свободно льётся из душа... Обычно я посещал бухарскую городскую баню, что у Зелёного базара, и не забуду выражения счастья на лицах стариков-аксакалов, стоявших под душем. Вода поливала их лысины, белые по сравнению со смугло-копчёными лицами, – видно, тубетейку старики не снимали всю жизнь! – а беззубые рты расплывались в блаженных улыбках. Может, им грезилось, что они уже в мусульманском раю? Спросишь, бывало: “Якши?” – и старик закивает: “Якши, якши!”

* “К прозрачным Азии стремимся городам...” Катулл.

Помывшись, побрившись и выпивши чаю, идём на базар. Ведь это и есть настоящая цель каравана, который пришёл, наконец, в Бухару. Продать шёлк, пряности, чай, купить ружья и чугунные казаны, сделанные урусами на железных заводах Урала, — ради этого и существовал тот Великий шёлковый путь, который связывал Азию и Европу.

На восточных базарах всегда вспоминаю забавную поговорку, записанную в XIX веке одним из путешественников-европейцев. “На мой вопрос: “Далеко ли до Бухары?” — обыкновенно мне отвечали: “Купец приезжает на седьмой день, а вор — на третий...”

Нам спешить некуда — мы ничего не украли! — поэтому можно, не торопясь, побродить по торговым рядам. Конечно, бухарские рынки сегодня — совсем не то, что когда-то: под знаменитыми торговыми куполами теперь продают, в основном, сувениры. Чтобы почувствовать атмосферу настоящего азиатского рынка, лучше свернуть с туристических троп. Скажем, базар Гиждувана, знаменитый своими вкуснейшими шашлыками и жареной рыбой, — вот это уже настоящий восточный базар, с его толчейей, гвалтом, неразберихой, с удушливым чадом мангалов, выкриками менял, с пестротой женских платьев, мужских тюбетеек, — словом, со всем тем, что так гипнотически втягивает в себя и заставляет бездумно, бесцельно кружиться в его разноцветных и шумных водоворотях. Насколько всегда мне противны мертвенные ряды супермаркетов, настолько же я всегда рад побродить по рядам настоящего, полного жизни базара. Даже то, что, казалось бы, должно отвращать и отталкивать, — всю эту неразбериху и толчею, пыль и чад, гомон и крики, — воспринимаешь, как симфонию жизни, видеть и слышать которую ты готов бесконечно.

Правда, сами товары — горы продуктов, одежды и утвари — интересуют меня только как объект фотосъёмки. То поймашь в видеоискатель пирамиду сияющих казанов, то восхитишься коврами иль платьями, то будешь, меняя ракурсы, снимать разноцветные барханы пряностей, сожалея, что твой “цифровик” не сумеет передать их аромат, то тебя остановит дымящий тандыр на колесах — полевая кухня Востока — или чарджуйские дыни, висящие над прилавком, как дирижабли в полёте...

Главное, что привлекает на азиатских базарах, — конечно, еда. Она здесь дешёва, очень вкусна, и жалеть приходилось лишь только о том, что желудок вмещает так мало, что нельзя съесть разом плов, шашлык, димламу, шурпу, джиз, лагман, а приходится выбирать что-то одно, и этот выбор всегда непрост. Любое из блюд, какое довелось попробовать в Узбекистане, достойно не то что простой похвалы — достойно оды, написанной в витиевато-торжественной, со множеством восклицательных знаков, манере.

Царь еды в Азии — плов. Как писал о хивинцах Николай Муравьёв ещё в 1822 году: “Любимое их кушанье — плов, или густая каша из сарачинского пшена”. Удивляет разнообразие видов этого самого “сарачинского пшена”. Мы-то знаем рис длинный да круглый; а в Азии его десятки, если не сотни, видов и разновидностей, как, кстати, и разновидностей плова. Но называют его здесь, чаще всего, даже не “плов”, а “ош” — то есть просто “еда”.

Всегда удивляет, как много можно съесть плова — потому что невозможно остановиться, поглощая душистый, рассыпчатый рис, перемешанный с луком, морковью, горохом, изюмом и ещё Бог знает с чем. Ощущенье такое, что ты просто ныряешь в эту гору из риса и плывёшь в ней, забывая про всё на свете... Приходишь в себя, лишь когда пустеет тарелка; но какое-то время ещё не вполне понимаешь: что это было с тобой, и куда подевалась огромная порция плова?

Походив по базару, наевшись-напившись, пора бы подумать о том, где прилечь да поспать. Как известно, гостиницы в Азии назывались караван-сарай — то есть буквально: “города караванов”.

Это опять возвращает нас к мысли о том, что город в Азии — это большая стоянка на караванном пути. Посетите любое из старых жилищ — и вы увидите, в сущности, юрту кочевника: только стены в ней будут не из войлока, а из самана. Пол устелен коврами, на которых лежат ватные одеяла; ни окон, ни мебели нет и в помине. Система зимнего отопления здесь первобытная: сандали, то есть углубление в глинобитном полу, куда насыпаются угли, а поверх них ставится низенький столик, который накрывается одеялом. Хочешь согреться — садись, и просовывай ноги под одеяло: это всё напоминает обогрев путников возле костра, под мерцающим звёздами небом пустыни. То есть

быт горожанина в Азии столь аскетичен, что кажется: собраться и тронуться в путь, оставляя обжитое место, — вопрос двух-трёх часов. И в этом смысле город “прозрачен” настолько, что кажется призрачным, — впрочем, как и сама азиатская жизнь. Память о том, что мы в мире гости, что всем нашим радостям, горестям, хлопотам или заботам отмерен свой срок, что караван скоро снова отправится в путь, к неизведанным нами пределам, — это важнейшая часть азиатского отношения к жизни. Если большинство, скажем, сказок Европы завершаются формулой жизненного благополучия, которого после всех приключений достигают герои — “И стали они жить-поживать да добра наживать”, — то каждая сказка “1001 ночи” имеет такой финал: “И они жили счастливо до тех пор, пока не явилась к ним разрушительница наслаждений и разлучительница собраний, сокрушающая дворцы и воздвигающая могилы...”

А тюрбан — тот моток полотна, что украшает головы правоверных, — это же саван, призванный ежедневно напоминать о превратностях человеческой жизни и о неизбежности смерти. Согласитесь: носить на голове собственный погребальный костюм, в который тебя когда-нибудь и обернут, — это создаёт особенный тон отношения к жизни. Ощущение призрачности всего мирского, осознание “прозрачности” наших дел и свершений, жилищ, городов — важная, если не основная, составляющая в мировоззрении суфиев, этих аскетов, для которых нет большой разницы: заночевать ли в ханаке, общежитии державшей, или провести ночь у кочевого костра. Реальность для суфия и должна быть прозрачна, он должен душою и мыслями проникать сквозь неё: даже шумный и тесный, дувалами стиснутый город должен ему представляться видением — чем-то вроде тех миражей, что дрожат над песками пустыни...

Вот и нам, только-только мы свыклись со здешнею жизнью, с саманными стенами и минаретами, с которых порой раздаётся восторженный плач муэдзина, с дымком из тандыров и запахом свежих лепёшек, только-только мы свыклись с полдневной жарой и с вечерней прохладой азиатского города, пора трогаться дальше. И город, покинутый нами, становится всё более призрачным, зыбким, прозрачным: его контуры тают и расплываются, звуки гаснут, его цвета блекнут, а тени — бледнеют. И от города, как написал современный арабский писатель Амин Маалуф, “остаётся лишь взгляд, брошенный на него полупьяным поэтом...”

VI. В ТЕНИ ПТИЦЫ ХУМАЙ

Пустыня внемлет Богу...

М. Лермонтов

Даже в апреле, и то приходилось выискивать тень — и вздыхать с облегчением, когда ты мог наконец-то прийти в себя, отереть со лба пот и отдохнуть в холодке. В ясные дни, — а таких в Средней Азии большинство, — весь мир чётко делится надвое: пекло — и тень, дурман зноя — и просветление тенистой прохлады.

Ни одной из религий Востока — ни ислама, ни зороастризма, который исламу предшествовал, — нельзя понять и прочувствовать, упуская из виду вот это отчётливо-резкое разделение мира на солнце и тень. Ведь представления человека о мире вырастают из тех непосредственных впечатлений реальности, которые, повторяясь день ото дня, год от года, входят в души, умы и сердца несомненно и изначально данностью. И если видимый мир так отчётливо делится надвое, если он состоит из враждующих света и тени, то и всё бытие, как считали зороастрийцы, есть арена борьбы Ахримана с Ормаздом — духа зла с духом добра.

Вообще, смысл и значение тени в Азии совершенно иные, чем, скажем, в Европе, где солнечный свет не так резок и жгуч, где тень не так отчётлива и не настолько желанна и где нам привычнее полутона, полутени. Уже в силу оптических этих эффектов, которые нас, европейцев, окружают ежедневно и всюду, нам и в собственных душах сложнее отделить свет от тени и зло — от добра. В нас изначально живёт убеждение, что не бывает людей однозначно плохих или всецело хороших: нет, душа каждого есть сложная смесь тьмы и света.

Ислам же решителен, целен и прост, как кулак или сабля. И в самой беспощадности, резкости вероученья Пророка ощущается резкость деления ми-

ра Востока на солнце и тень: стало быть, на своих и чужих, на тех, кто достоин награды, и на неверных-гяуров, достойных презрения, а порою и смерти.

Но вернёмся к символике тени. Одна из восточных легенд говорит: человек, на которого пала тень птицы Хумай, — считается, что прообразом этой мифической птицы является кондор, — будет счастлив и станет царём. Эта птица помещена на герб Узбекистана: вся страна лежит как бы в тени её царственных крыльев.

Уже из этого видно, что тень на Востоке — священна. Там даже султана, царя, называли порой “тенью Аллаха”. И, действительно, тени Востока настолько отчётливо-резки, что кажутся материальными: они словно рельефнее тех реальных предметов, которые их отбрасывают. Если солнечный мир порой расплывается, тает в глазах, и ты, измученный зноем, начинаешь уже сомневаться в реальности мира, да и самого себя тоже, то тень всегда несомненна, отчётлива, определённа.

И тень здесь — бесценный дар, милость Аллаха: даже без воды человек проживёт летом в Азии дольше, чем он продержится без спасительной тени. И вообще, солнце выжгло бы всё, превратило бы всю землю в пустыню, когда бы не тень и вода — эти две главные составляющие магометанского рая.

Так что можно считать, что мы, русские, живём в мусульманском раю: и тени, и зелени, и воды у нас с вами в избытке; да и красивые женщины, без которых исламский рай также немислим, мы, можно сказать, избалованы. Вот и думай: ценить ли нам нашу Россию, где даже обычная жизнь, благ которой мы уже и не замечаем, есть предел не просто земных, а загробных мечтаний целых народов? Да, полезно расстаться на время с привычной жизнью, увидеть её со стороны, чтобы не забывать, как нам повезло, как мы богаты и счастливы и как мы за это должны, выражаясь высоким слогом, “денно и ночью Господа Бога благодарить”.

То, что Азия — это всё же “чужое”, ощущаешь на каждом шагу. Острее всего чувствуешь это в мечети, где человек обращается к Богу, — там он откровенней всего выражает себя самого. Так вот, в мечети, во время намаза поражает решительность, слаженность, чёткость движений молящихся. Вот все застыли в напряжённой готовности; вот, по слову муллы, разом склонились; вот все, как один, рухнули на колени и прижали лбы к молитвенному ковру, а вот уже, как пружины, все разом выпрямились и вновь напряжённо застыли перед михрабом — узорчатой нишей, обращённой в сторону Мекки. Женщин здесь нет, а все молящиеся мужчины со спины кажутся примерно одного возраста: среднего, то есть самого боеспособного. И поэтому, когда видишь молящихся мусульман, начинает казаться, что оказался на плацу во время строевой подготовки. Ощущение, прямо скажем, тревожное: когда видишь десятки обритых и крепких затылков, широких и разом склоняющихся спин, которые тут же, словно пружины, распрямляются, — понимаешь, что это, по сути, воинская команда, которой лишь крикни приказ — и она, без сомнения и промедления, ринется в бой. Прямо-таки ощущаешь, как Аллах заряжает молящихся силой, как она копится в тех, кто собрался в мечети, в её пустых стенах, тоже чем-то напоминающих стены казармы.

До чего же это всё отличается от нашего православного храма — того, где смиренно мерцают лампы и свечи, где лики святых сокрушённо взирают на ветхих старушек, которым креститься, и то тяжело: их дрожащие руки и скорбные лица принадлежат уже, кажется, миру иному...

И думаешь: как же так получилось, что наша религия слабых, больных, обречённых, несчастных и грешных людей столько раз — даже в этой, земной, уж никак не прощающей слабости, жизни — одолевала и сокрушала ислам, религию силы и воли? Вот и здесь, в песках Средней Азии — множество раз побеждала Россия и её православное воинство.

Не то, чтоб ответ, а намёк на него я ощутил однажды в храме Сергия Радонежского в узбекском городе Навои. Воскресная служба уже завершалась, храм был полупустым — русских в Азии остаётся всё меньше, — но было неизъяснимо отраднo видеть родные мне лица — и те, что смотрели со стен православного храма, и те лица молящихся, что меня окружали. Я вдруг почувствовал — как бы это точнее сказать? — функциональность ислама и “бесполезную” суть христианства. Если исламскому Богу от человека нужна его сила и воля, и готовность погибнуть во имя Аллаха, то есть нужно, как от солдата, какое-то действие или хотя бы готовность к нему, то христианскому Богу нужен сам че-

ловек. Христианство поэтому глубже ислама: как человек всегда и сложнее, и глубже своих поступков, которые могут быть или глупыми, или плохими, но тайна и глубина человека всегда будет больше суммы всех его дел, как хороших, так и дурных. И поэтому христианство бытийно сильнее ислама. Ибо оно опирается на человека, больного и грешного, скорбящего и недостойного, часто почти бессильного – на того человека, каким он является по своей сути. Сила и молодость преходящи и очень непрочны; а вот скорбь, тоска, боль будут жить, пока жив на земле человек.

Ислам, можно сказать, человека не видит, он как бы не принимает его в расчёт; кажется, что в исламе живой человек лишь мешает той дивной гармонии мира, тем формам, узорам, цветам бытия, над которыми вдохновенно трудился Аллах. Поэтому так абсолютен, так строг мусульманский запрет на изображение человеческого лица – того, что, по убеждению христиан, является самым прекрасным на свете.

Как-то раз в Самарканде тёплой звездной ночью я сидел перед фасадом усыпальницы Тамерлана. Весь Гур-Эмир – его арки, ворота и башни – всё было покрыто цветными узорами, украшено надписями из Корана, и всё было очень красиво, особенно рядом со звёздами, что мерцали на небе. Но светлые ниши стены внутри арок, обрамлённые узорами арабесок, были знобюще-пустыми. И я вдруг почувствовал как бы тоску этих ниш: они словно ждали и жаждали человеческих лиц, они будто просили, чтобы кто-нибудь положил на их белизну мучительно-недостающие лики людей... И даже плач муэдзина, что вскоре раздался в ночи над плоскими крышами старого Самарканда, показался мне тоскующим, горестным зовом: “Ищу человека!..”

Вот и те азиатские тени, о которых уже велась речь, – тени, которые так много значат и в жизни, и в мифологии Азии, – имеют важнейшее свойство (точнее, недостаток): у них нет лица. Пусть тень отчётлива, резка, пусть она безупречно рисует нам контур предмета, пусть даже нас к ней влечёт, как к желанной защите от солнца, но тень никогда не заплачет и не засмеется, и мы никогда не увидим её, тени, глаз...

Ислам тоже кажется некой тенью Пророка, который, беседуя с Богом и слыша Его наставления, как бы отбросил на жёлтые, испепелённые солнцем пески аравийских пустынь свой резко очерченный контур и запечатлел на сожжённой земле след своей встречи с Аллахом. И к этой спасительной тени, ища в ней защиты, потянулись сначала арабы, а потом и десятки иных, истомлённых пустыней племён и народов. Ислам дал им эту защиту и научил их, как выжить в пустыне жестокой и скудной реальности жизни.

Но тень – всего только тень; отдыхая в тени, наслаждаясь прохладой и негой этого как бы прообраза магометанского рая, нельзя забывать, что тени всегда порождаются солнцем, и не явись к нам Христос, не озари падший мир светом истинной веры, лучами любви, не возникло бы и ислама – этой тени Пророка на сотворённой единым Богом земле...

г. Калуга